



Федор Достоевский  
**Записки о русской литературе**

«Public Domain»

## **Достоевский Ф. М.**

Записки о русской литературе / Ф. М. Достоевский — «Public Domain»,

В размышлениях Ф.М.Достоевского о русской литературе находят отражение те же философские, социальные и нравственные идеи, которые легли в основу его великих романов. Точные и глубокие суждения писателя о Пушкине, Некрасове, Льве Толстом, о Гоголе и Белинском дают ключ к пониманию того, что составляет суть русской литературы не только как явления художественного, но и как пути духовного подвижничества.

## Содержание

I. Статьи	5
<Объявление о подписке на журнал «Время» на 1861 год>	5
Ряд статей о русской литературе	9
I. Введение	9
1	9
2	10
II. Г-н – бов и вопрос об искусстве	13
Конец ознакомительного фрагмента.	24

# Федор Достоевский

## Записки о русской литературе

### I. Статьи

#### <Объявление о подписке на журнал «Время» на 1861 год>

*С января 1861 года будет издаваться «Время»,  
журнал литературный и политический, ежемесячно,*

*книгами от 25 до 30 листов большого формата*

Прежде чем мы приступим к объяснению, почему именно мы считаем нужным основать новый публичный орган в нашей литературе, скажем несколько слов о том, как мы понимаем наше время и именно настоящий момент нашей общественной жизни. Это послужит и к уяснению духа и направления нашего журнала.

Мы живем в эпоху в высшей степени замечательную и критическую. Не станем исключительно указывать, для доказательства нашего мнения, на те новые идеи и потребности русского общества, так единодушно заявленные всею мыслящею его частью в последние годы. Не станем указывать и на великий крестьянский вопрос, начавшийся в наше время... Все это только явления и признаки того огромного переворота, которому предстоит совершиться мирно и согласно во всем нашем отечестве, хотя он и равносителен, по значению своему, всем важнейшим событиям нашей истории и даже самой реформе Петра. Этот переворот есть слитие образованности и ее представителей с началом народным и приобщение всего великого русского народа ко всем элементам нашей текущей жизни, – народа, отшатнувшегося от Петровской реформы еще 170 лет назад и с тех пор разъединенного с сословием образованным, жившего отдельно, своей собственной, особенной и самостоятельной жизнью.

Мы упомянули о явлениях и признаках. Бесспорно важнейший из них есть вопрос об улучшении крестьянского быта. Теперь уже не тысячи, а многие миллионы русских войдут в русскую жизнь, внесут в нее свои свежие непочатые силы и скажут свое новое слово. Не вражда сословий, победителей и побежденных, как везде в Европе, должна лечь в основание развития будущих начал нашей жизни. Мы не Европа, и у нас не будет и не должно быть победителей и побежденных. Реформа Петра Великого и без того нам слишком дорого стоила: она разъединила нас с народом. С самого начала народ от нее отказался. Формы жизни, оставленные ему преобразованием, не согласовались ни с его духом, ни с его стремлениями, были ему не по мерке, не впору. Он называл их немецкими, последователей великого царя – иностранцами. Уже одно нравственное распадение народа с его высшим сословием, с его вожаками и предводителями показывает, какую дорогую ценою досталась нам тогдашняя новая жизнь. Но, разойдясь с реформой, народ не пал духом. Он неоднократно заявлял свою самостоятельность, заявлял ее с чрезвычайными, судорожными усилиями, потому что был один и ему было трудно. Он шел в темноте, но энергически держался своей особой дороги. Он вдумывался в себя и в свое положение, пробовал создать себе воззрение, свою философию, распадался на таинственные уродливые секты, искал для своей жизни новых исходов, новых форм. Невозможно было более

отшатнуться от старого берега, невозможно было смелее жечь свои корабли, как это сделал наш народ при выходе на эти новые дороги, которые он сам себе с таким мучением отыскивал. А между тем его называли хранителем старых допетровских форм, тупого старообрядства.

Конечно, идеи народа, оставшегося без вожатаев на одни свои силы, были иногда чудовищны, попытки новых форм жизни безобразны. Но в них было общее начало, один дух, вера в себя незыблемая, сила непочатая. После реформы был между ним и нами, сословием образованным, один только случай соединения – двенадцатый год, и мы видели, как народ заявил себя. Мы поняли тогда, что он такое. Беда в том, что нас-то он не знает и не понимает.

Но теперь разъединение оканчивается. Петровская реформа, продолжавшаяся вплоть до нашего времени, дошла наконец до последних своих пределов. Дальше нельзя идти, да и некуда: нет дороги; она вся пройдена. Все последовавшие за Петром узнали Европу, примкнули к европейской жизни и не сделались европейцами. Когда-то мы сами укоряли себя за неспособность к европеизму. Теперь мы думаем иначе. Мы знаем теперь, что мы и не можем быть европейцами, что мы не в состоянии втиснуть себя в одну из западных форм жизни, выжитых и выработанных Европою из собственных своих национальных начал, нам чуждых и противоположных, – точно так, как мы не могли бы носить чужое платье, сшитое не по нашей мерке. Мы убедились наконец, что мы тоже отдельная национальность, в высшей степени самобытная, и что наша задача – создать себе новую форму, нашу собственную, родную, взятую из почвы нашей, взятую из народного духа и из народных начал. Но на родную почву мы возвратились не побежденными. Мы не отказываемся от нашего прошедшего: мы сознаем и разумность его. Мы сознаем, что реформа раздвинула наш кругозор, что через нее мы осмыслили будущее значение наше в великой семье всех народов.

Мы знаем, что не оградимся уже теперь китайскими стенами от человечества. Мы предугадываем, и предугадываем с благоговением, что характер нашей будущей деятельности должен быть в высшей степени общечеловеческий, что русская идея, может быть, будет синтезом всех тех идей, которые с таким упорством, с таким мужеством развивает Европа в отдельных своих национальностях; что, может быть, все враждебное в этих идеях найдет свое примирение и дальнейшее развитие в русской народности. Недаром же мы говорили на всех языках, понимали все цивилизации, сочувствовали интересам каждого европейского народа, понимали смысл и разумность явлений, совершенно нам чуждых. Недаром заявили мы такую силу в самоосуждении, удивлявшем всех иностранцев. Они упрекали нас за это, называли нас безличными, людьми без отечества, не замечая, что способность отрешиться на время от почвы, чтоб трезвее и беспристрастнее взглянуть на себя, есть уже сама по себе признак величайшей особенности; способность же примирительного взгляда на чужое есть высочайший и благороднейший дар природы, который дается очень немногим национальностям. Иностранцы еще и не починали наших бесконечных сил... Но теперь кажется, и мы вступаем в новую жизнь.

И вот перед этим-то вступлением в новую жизнь примирение последователей реформы Петра с народным началом стало необходимостью. Мы говорим здесь не о славянофилах и не о западниках. К их домашним раздорам наше время совершенно равнодушно. Мы говорим о примирении цивилизации с народным началом. Мы чувствуем, что обе стороны должны наконец понять друг друга, должны разъяснить все недоумения, которых накопилось между ними такое невероятное множество, и потом согласно и стройно общими силами двинуться в новый широкий и славный путь. Соединение во что бы то ни стало, несмотря ни на какие пожертвования, и возможно скорейшее, – вот наша передовая мысль, вот девиз наш.

Но где же точка соприкосновения с народом? Как сделать первый шаг к сближению с ним, – вот вопрос, вот забота, которая должна быть разделяема всеми, кому дорого русское имя, всеми, кто любит народ и дорожит его счастьем. А счастье его – счастье наше. Разумеется, что первый шаг к достижению всякого согласия есть грамотность и образование. Народ никогда не поймет нас, если не будет к тому предварительно приготовлен. Другого нет пути, и мы

знаем, что, высказывая это, мы не говорим ничего нового. Но пока за образованным сословием остается еще первый шаг, оно должно воспользоваться своим положением и воспользоваться усиленно. Распространение образования усиленное, скорейшее и во что бы то ни стало – вот главная задача нашего времени, первый шаг ко всякой деятельности.

Мы высказали только главную передовую мысль нашего журнала, намекнули на характер, на дух его будущей деятельности. Но мы имеем и другую причину, побудившую нас основать новый независимый литературный орган. Мы давно уже заметили, что в нашей журналистике, в последние годы, развилась какая-то особенная добровольная зависимость, подначальность литературным авторитетам. Разумеется, мы не обвиняем нашу журналистику в корысти, в продажности. У нас нет, как почти везде в европейских литературах, журналов и газет, торгующих за деньги своими убеждениями, меняющих свою подлую службу и своих господ на других единственно из-за того, что другие дают больше денег. Но заметим, однако же, что можно продавать свои убеждения и не за деньги. Можно продать себя, например, от излишнего врожденного подобострастия или из-за страха прослыть глупцом за несогласие с литературными авторитетами. Золотая посредственность иногда даже бескорыстно трепещет перед мнениями, установленными столпами литературы, особенно если эти мнения смело, дерзко, нахально высказаны. Иногда только эта нахальность и дерзость доставляет звание столпа и авторитета писателю неглупому, умеющему воспользоваться обстоятельствами, а вместе с тем доставляет столпу чрезвычайное, хотя и временное влияние на массу. Посредственность, с своей стороны, почти всегда бывает крайне пуглива, несмотря на видимую заносчивость, и охотно подчиняется. Пугливость же порождает литературное рабство, а в литературе не должно быть рабства. Из жажды литературной власти, литературного превосходства, литературного чина, иной, даже старый и почтенный литератор, способен иногда решиться на такую неожиданную, на такую странную деятельность, что она поневоле составляет соблазн и изумление современников и непременно перейдет в потомство в числе скандальных анекдотов о русской литературе в половине девятнадцатого столетия. И такие происшествия случаются все чаще и чаще, и такие люди имеют влияние продолжительное, а журналистика молчит и не смеет до них дотрагиваться. Есть в литературе нашей до сих пор несколько установившихся идей и мнений, не имеющих ни малейшей самостоятельности, но существующих в виде несомненных истин, единственно потому, что когда-то так определили литературные предводители. Критика пошлеет и мельчает. В иных изданиях совершенно обходят иных писателей, боясь проговориться о них. Спорят для верха в споре, а не для истины. Грошовый скептицизм, вредный своим влиянием на большинство, с успехом прикрывает бездарность и употребляется в дело для привлечения подписчиков. Строгое слово искреннего глубокого убеждения слышится все реже и реже. Наконец, спекулятивный дух, распространяющийся в литературе, обращает иные периодические издания в дело преимущественно коммерческое, литература же и польза ее отодвигаются на задний план, а иногда о ней и не мыслится.

Мы решились основать журнал, вполне независимый от литературных авторитетов, – несмотря на наше уважение к ним с полным и самым смелым обличением всех литературных странностей нашего времени. Обличение это мы предпринимаем из глубочайшего уважения к русской литературе. Наш журнал не будет иметь никаких нелитературных антипатий и пристрастий. Мы даже готовы будем признаваться в собственных ошибках и промахах, и признаваться печатно, и не считаем себя смешными за то, что хвалимся этим (хотя бы и заранее). Мы не уклонимся и от полемики. Мы не побоимся иногда немного и «пораздразнить» литературных гусей; гусиный крик иногда полезен: он предвещает погоду, хотя и не всегда спасает Капитолий. Особенное внимание мы обратим на отдел критики. Не только всякая замечательная книга, но и всякая замечательная литературная статья, появившаяся в других журналах, будет непременно разобрана в нашем журнале. Критика не должна же уничтожиться из-за того только, что книги стали печататься не отдельно, как прежде, а в журналах. Остав-

ляя в стороне всякие личности, обходя молчанием все посредственное, если оно не вредно, «Время» будет следить за всеми сколько-нибудь важными явлениями литературы, останавливать внимание на резко выдающихся фактах, как положительных, так и отрицательных, и без всякой уклончивости обличать бездарность, злонамеренность, ложные увлечения, неуместную гордость и литературный аристократизм – где бы они ни являлись. Явления жизни, ходячие мнения, установившиеся принципы, сделавшиеся от общего и слишком частого употребления кстати и некстати какими-то опошлившимися, странными и досадными афоризмами, точно так же подлежат критике, как и вновь вышедшая книга или журнальная статья. Журнал наш поставляет себе неизменным правилом говорить прямо свое мнение о всяком литературном и честном труде. Громкое имя, подписанное под ним, обязывает суд быть только строже к нему, и журнал наш никогда не низойдет до общепринятой теперь уловки – наговорить известному писателю десять напыщенных комплиментов, чтобы иметь право сделать ему одно не совсем лестное для него замечание. Похвала всегда целомудренна; одна лесть пахнет лакейской. Не имея места в простом объявлении входить во все подробности нашего издания, скажем только, что программа наша, утвержденная правительством, чрезвычайно разнообразна. Вот она:

## Программа

I. Отдел литературный. Повести, романы, рассказы, мемуары, стихи и т. д.

II. Критика и библиографические заметки как о русских книгах, так и об иностранных. Сюда же относятся разборы новых пьес, поставленных на наши сцены.

III. Статьи ученого содержания. Вопросы экономические, финансовые, философские, имеющие современный интерес. Изложение самое популярное, доступное и для читателей, не занимающихся специально этими предметами.

IV. Внутренние новости. Распоряжения правительства, события в отечестве, письма из губерний и проч.

V. Политическое обозрение. Полное ежемесячное обозрение политической жизни государств. Известия последней почты, политические слухи, письма иностранных корреспондентов.

VI. Смесь. а) Небольшие рассказы, письма из-за границы и из наших губерний и проч. б) Фельетон. в) Статьи юмористического содержания.

Из этого перечня видно, что все, что может интересовать современного читателя, входит в нашу программу. Из статей юмористического содержания мы сделаем особый отдел в конце каждой книжки.

Мы не выставляем имен писателей, принимающих участие в нашем издании. Этот способ привлечения внимания публики оказался в последнее время совершенно несостоятельным. Мы видели не одно издание, дававшее громкие имена только в своем объявлении. Хотя и мы в нашем могли бы выставить не одно известное в нашей литературе имя, но нарочно удерживаемся от этого, потому что, при всем уважении к нашим литературным знаменитостям, сознаем, что не они составляют силу журнала.

«Время» будет выходить каждый месяц, в первых числах, книгами от 25 до 30 листов большого формата, в объеме наших больших ежемесячных журналов.

## Ряд статей о русской литературе

### I. Введение

#### 1

Если есть на свете страна, которая была бы для других, отдаленных или сопредельных с нею стран более неизвестною, неисследованною, более всех других стран непонятою и непонятною, то эта страна есть, бесспорно, Россия для западных соседей своих. Никакой Китай, никакая Япония не могут быть покрыты такой тайной для европейской пытливости, как Россия, прежде, в настоящую минуту и даже, может быть, еще очень долго в будущем. Мы не преувеличиваем. Китай и Япония, во-первых, слишком далеки от Европы, а во-вторых, и доступ туда иногда очень труден; Россия же вся открыта перед Европою, русские держат себя совершенно нараспашку перед европейцами, а между тем характер русского, может быть, даже еще слабее обрисован в сознании европейца, чем характер китайца или японца. Для Европы Россия – одна из загадок Сфинкса. Скорее изобретется *perpetuum mobile* или жизненный эликсир, чем постигнется Западом русская истина, русский дух, характер и его направление. В этом отношении даже Луна теперь исследована гораздо подробнее, чем Россия. По крайней мере, положительно известно, что там никто не живет; а про Россию знают, что в ней живут люди и даже русские люди, но какие люди? Это до сих пор загадка, хотя, впрочем, европейцы и уверены, что они нас давно постигли. <...> Кое-что, впрочем, о нас знают. Знают, например, что Россия лежит под такими-то градусами, изобилует тем-то и тем-то и что в ней есть такие места, где ездят на собаках. Знают, что кроме собак в России есть и люди, очень странные, на всех похожие и в то же время как будто ни на кого не похожие; как будто европейцы, а между тем как будто и варвары. Знают, что народ наш довольно смысленный, но не имеет гения; очень красив, живет в деревянных избах, но неспособен к высшему развитию по причине морозов. Знают, что в России есть армия, и даже очень большая; но полагают, что русский солдат – совершенная механика, сделан из дерева, ходит на пружинах, не мыслит и не чувствует и потому довольно стоек в сражениях, но не имеет никакой самостоятельности и во всех отношениях уступает французу. Знают, что в России был император Петр, которого называют Великим, – монарх не без способностей, но полуобразованный и увлекавшийся своими страстями; что женевец Лефорт воспитал его, сделал его из варвара умным и внушил ему мысль завести флот и обрезать русским кафтаны и бороды; что Петр, действительно, обрезал бороды, и потому русские тотчас же сделались европейцами. Но знают и то, что, не родись в Женеве Лефорт, русские до сих пор ходили бы с бородами, а следовательно, не было бы и преобразования России. Но, впрочем, довольно и этих примеров; все остальные познания то же или почти то же самое. <...> Кстати (иностранец) уж обратит внимание и на русскую литературу; поговорит о Пушкине и снисходительно заметит, что это был поэт не без дарований, вполне национальный и с успехом подражавший Андрею Шенье и мадам Дезульер; похвалит Ломоносова, с некоторым уважением будет говорить о Державине, заметит, что он был баснописец не без дарованья, подражавший Лафонтену, и с особенным сочувствием скажет несколько слов о Крылове, молодом писателе, похищенном преждевременною смертью (следует биография) и с успехом подражавшем в своих романах Александру Дюма <...>.

## 2

<...> Где ж было им разгадать нас, русских, когда мы и сами-то для себя загадка, по крайней мере постоянно задавали друг другу о себе загадки. Разве славянофилы не задавали загадок западникам, а западники славянофилам? У нас до сих пор любят ребусы. Читайте объявления об издании журналов, и вы в этом совершенно убедитесь. И как же бы, наконец, они нас постигли, когда одна из главнейших наших особенностей именно та, что мы не европейцы, а они и не могут мерить иначе как на свой аршин. Да главное еще то, что мы сами почти вплоть до сих пор постоянно и упорно рекомендовали им себя за европейцев. Что ж могли они разобрать в такой путанице, особенно глядя на нас? Виноваты ли они, что до сих пор у них недостает даже фактов, чтоб составить о нас беспристрастное мнение? Чем заявили мы себя особенным, оригинальным? Мы, напротив, даже как-то боялись сознаться в наших оригинальностях, прятали их не только перед ними, но даже перед собою; стыдились, что мы еще носим на себе хоть какой-нибудь свой отпечаток и никак не можем стать вполне европейцами, укоряли себя за это, а следственно, им же поддакивали, торопливо соглашались с ними и даже не пробовали их переуверять. Да и кого из русских они видели? по ком судили? Правда, они встречались со многими из наших, целых полтора века сряду. Вместе с прочими ездил к ним и господин Греч и писал оттуда парижские письма. Вот про господина Греча мы знаем, что он пытался было переубедить французов, разговаривал с Сент-Бевом, с Виктором Гюго, что явствует из его собственных парижских писем. «Я *напрямки* сказал Сент-Беvu», – выражается он. «Я *напрямки* объявил Виктору Гюго». Дело, видите ли, в том, что Сент-Беvu или Виктору Гюго, не помним (надо бы справиться), г-н Греч сказал *напрямки*, что литература, проповедующая безнравственность и проч., и проч., ошибается и недостойна называться литературой. (Может быть, слова не совсем те, но смысл тот же самый. За это ручаемся.) Вероятно, Сент-Беvu надо было дожидаться лет пятьдесят г-на Греча, чтоб услышать от него подобную истину из прописей. То-то, должно быть, Сент-Бев выпучил глаза! Впрочем, успокоимся: французы народ чрезвычайно вежливый, и мы знаем, что г-н Греч воротился из Парижа благополучно и невредимо. Притом же мы, может быть, и не ошибемся, если скажем, что по г-ну Гречу нельзя же было судить о всех русских. Но довольно о г-не Грече. Мы упомянули о нем только так. К делу! Ездили в Париж и другие, кроме г-на Греча.

<...> бывали и такие из них, которые знали по-русски, даже занимались зачем-то русской литературой и ставили на русских сценах комедии, вроде пословиц Альфреда Мюссе, под названием ну хоть, например, «Раканы» (название, конечно, выдуманное). Так как сюжет «Раканов» характеризует целый слой общества, занимающегося такими комедиями, а вместе с тем изображает тип и других произведений в таком же роде, то позвольте вам в двух словах рассказать его. Когда-то в Париже, в прошлом столетии, процветал один пошлейший рифмоплет, под названием Ракан, не годившийся даже чистить сапоги г-ну Случевскому. Одна идиотка, маркиза, прельщается его стихами и желает с ним познакомиться. Три шалуна сговариваются между собою явиться к ней, один за другим, под названием Ракана. Не успевает она проводить одного Ракана, как тотчас же перед ней является и другой. Все остроумие, вся соль комедии, весь пафос ее заключается в остолбенении маркизы при виде Ракана в трех лицах. Господа, разрешавшиеся (иногда в сорок лет от роду) такими комедиями после «Ревизора», совершенно бывали уверены, что дарят русской литературе драгоценнейшие перлы. И таких господ не один, не два; имя им легион. Разумеется, никто из них ничего не пишет. Автор «Раканов» почти исключение; но зато каждый из них так уж с виду смотрит, что как будто сейчас сочинит «Раканов». Кстати (простите за отступление), премиленькая вышла бы статейка, если б кто-нибудь из наших фельетонистов взял на себя труд рассказать все сюжеты таких комедий, повестей, пословиц и проч., и проч., мелькающих даже до сих пор в русской литературе.

Становые, отказывающиеся, по принципу, жениться на генеральских дочерях, – разве это не те же Раканы, разумеется в своем роде и немного только позлокачественнее? Я знаю, например, сюжет одной повести о проглоченных кем-то маленьких часах, продолжавших тикать в желудке, – это верх совершенства! Разумеется, она написана или будет написана тоже по принципу, именно: что искусство должно служить само себе целью. Уж наше время такое: даже сочинители «Раканов» не могут теперь обходиться без «принципов» и «современных вопросов». Но к делу. Спрашиваем: что могли до сих пор заключить о нас иностранцы по таким господам? Но, скажут нам, разве только одни такие господа ездили к иностранцам? Разве не видали, хоть бы, например, французы, таких-то или вот, пожалуй, таких-то! То-то и есть, что они их до сих пор не заметили. А если б и заметили, то опять стали бы в тупик. Ну что бы, например, могли сказать они человеку, приехавшему бог знает откуда и который бы им вдруг объявил, что они отстали, что свет уже теперь на востоке, что спасение не в *legion d'honneur*'e,<sup>1</sup> и так далее, и так далее в этом роде. Они просто бы не стали его слушать.

– Да, вы многое в нас проглядели, – сказали бы мы им, если б только они могли не проглядеть, ну, и... и если б они нас стали слушать. <...>

<...> И кто знает, господа иноземцы, может быть, России именно предназначено ждать, пока вы кончите; тем временем проникнуться вашей идеей, понять ваши идеалы, цели, характер стремлений ваших; согласить ваши идеи, возвысить их до общечеловеческого значения и, наконец, свободной духом, свободной от всяких посторонних, сословных и почвенных интересов, двинуться в новую, широкую, еще неведомую в истории деятельность, начав с того, чем вы кончите, и увлечь вас всех за собою. Сравнил же наш поэт Лермонтов Россию с Ильей Муромцем, который тридцать лет сидел сиднем и вдруг пошел, только лишь сознал в себе богатырскую силу. К чему же даны такие богатые и оригинальные способности русским? Неужели же для того, чтоб ничего не делать? <...> Вот вы, например, откуда-то взяли, что мы фанатики, то есть что нашего солдата у нас возбуждают фанатизмом. Господи боже! Если б вы знали, как это смешно! Если есть на свете существо вполне не причастное никакому фанатизму, так это именно русский солдат. Те из нас, кто бывал и жил с солдатами, знают это до точности. Если б вы знали, какие это милые, симпатичные родные типы! О, если бы вам удалось прочесть хоть рассказы Толстого; там кое-что так верно, так симпатично схвачено! Да что! неужели Севастополь русские защищали из религиозного фанатизма? <...> А кстати: не рассказать ли вам нашу *собственную* повесть, повесть нашего развития, нашего роста? Разумеется, мы не начнем с Петра Великого; мы начнем с недавнего времени, именно с того, когда во все образованное сословие наше вдруг стал проникать анализ. Извольте. Бывали минуты, что мы, то есть цивилизованные, и в себя не верили. Поль де Кока мы еще тогда читали, но с презрением отвергали Александра Дюма и всю компанию. Мы набросились на одного Жорж Занда и – боже, как мы тогда зачитались! Андрей Александрович купно с г-ном Дудышкиным, поселившимся в «Отечественных записках» после Белинского, еще до сих пор вспоминает Жорж Занда; прочтите объявление об их журнале на 61 год. Тогда мы смиренно выслушивали ваши приговоры о нас самих и вам же усердно поддакивали. Да; мы поддакивали и – не знали, что делать. От нечего делать мы основали тогда натуральную школу. И сколько у нас проявилось талантливых натур! не писателей талантливых – те особо; а натур, талантливых во всех отношениях. Господин надворный советник Щедрин знает, что означает это словечко. И как эти талантливые натуры ломались и кривлялись тогда перед нами, а мы их разглядывали, пересуживали, осмеивали их в глаза и заставляли их же смеяться над самими собою. <...> Были у нас и высокочистые сердцем, которым удалось высказать горячее, убежденное слово. О, те не жаловались, что им не дают высказаться, что обрезают их поле деятельности, что антрепренеры высасывают из них последние соки, то есть они и жаловались, но не складывали рук и действовали как могли; а и

---

<sup>1</sup> почетном легионе (франц.).

все-таки действовали, хоть что-нибудь, да делали и... многое, очень многое сделали! Они были невинны и простодушны, как дети, и всю жизнь не понимали своих сотрудников Байронов и умерли наивными страдальцами. Мир праху их! Были у нас и демоны, настоящие демоны; их было два, и как мы любили их, как до сих пор мы любим и ценим! Один из них всё смеялся; он смеялся всю жизнь и над собой и над нами, и мы все смеялись за ним, до того смеялись, что наконец стали плакать от нашего смеха. Он постиг назначение поручика Пирогова; он из пропавшей у чиновника шинели сделал нам ужасную трагедию. Он рассказал нам в трех строках всего рязанского поручика, – всего, до последней черточки. Он выводил перед нами приобретателей, кулаков, обирателей и всяких заседателей. Ему стоило указать на них пальцем, и уже на лбу их зажигалось клеймо на веки веков, и мы уже наизусть знали: кто они и, главное, как называются. О, это был такой колоссальный демон, которого у вас никогда не было в Европе и которому вы бы, может быть, и не позволили быть у себя. Другой демон – но другого мы, может быть, еще больше любили. Сколько он написал нам превосходных стихов; писал он и в альбомы, но даже сам г-н – бов посовестился бы назвать его альбомным поэтом. Он проклинал и мучился, и вправду мучился. Он мстил и прощал, он писал и хохотал – был великодушен и смешон. Он любил нашептывать странные сказки заснувшей молодой девочке и смущал ее девственную кровь, и рисовал перед ней странные видения, о которых еще ей не следовало бы грезить, особенно при таком высоко нравственном воспитании, которое она получила. Он рассказывал нам свою жизнь, свои любовные проделки: вообще он нас как будто мистифицировал; не то говорит серьезно, не то смеется над нами. Наши чиновники знали его наизусть, и вдруг все начинали корчить Мефистофелей, только что выйдут, бывало, из департамента. Мы не соглашались с ним иногда, нам становилось и тяжело, и досадно, и грустно, и жаль кого-то, и злоба брала нас. Наконец ему наскучило с нами; он нигде и ни с кем не мог ужиться; он проклял нас, и осмеял «насмешкой горькою обманутого сына над промотавшимся отцом», и улетел от нас,

И над вершинами Кавказа  
Изгнанник рая пролетал.

Мы долго следили за ним, но наконец он где-то погиб – бесцельно, капризно и даже смешно. Но мы не смеялись. Нам тогда вообще было не до смеху. Теперь дело другое. Теперь бог послал нам благотельную гласность, и нам вдруг стало веселее. Мы как-то вдруг поняли, что все это мефистофельство, все эти демонические начала мы как-то рано на себя напустили, что нам еще рано проклинать себя и отчаиваться, несмотря на то, что еще так недавно господин Лама некий среди всего Пассажа доложил нам, что мы не созрели. Господи, как мы обиделись! Господин Погодин прискакал из Москвы на почтовых, запыхавшись, и тут же начал всенародно утешать нас и, разумеется, тотчас же нас уверил (даже без большого труда), что мы совершенно созрели. С тех пор мы такие гордые. У нас Щедрин, Розенгейм... Помним мы появление г-на Щедрина в «Русском вестнике». О, тогда было такое радостное, полное надежд время! Ведь выбрал же г-н Щедрин минутку, когда явиться. Говорят, в «Русском вестнике» прибавилось вдруг столько подписчиков, что и сосчитать нельзя было, несмотря на то, что почтенный журнал уж и тогда начинал толковать о Кавуре, об английских лордах и фермерстве. С какою жадностью читали мы о Живоглотах, о поручике Живновском, о Порфирии Петровиче, об озорниках и талантливых натурах, – читали и дивились их появлению. Да где ж они были, спрашивали мы, где ж они до сих пор прятались? Конечно, настоящие живоглоты только посмеивались. Но всего более нас поразило то, что г-н Щедрин едва только оставил северный град, Северную Пальмиру (по всегдашнему выражению г-на Булгарина – мир праху его!), как тотчас же у него и замелькали под пером и Аринушки, и несчастненькие с их крутогорской кормилицей, и скитник, и матушка Мавра Кузьмовна, и замелькали как-то странно, как-то осо-

бенно. Точно непременно так уж выходило, что как только выедешь из Пальмиры, то немедленно заметишь всех этих Аринушек и запоешь новую песню, забыв и Жорж Занд, и «Отечественные записки», и г-на Панаева, и всех, и всех. И вот разлилась как море благодетельная гласность; громко звякнула лира Розенгейма; раздался густой и солидный голос г-на Громеки, мелькнули братья Милеанты, закишели бессчетные иксы и зеты, с жалобами друг на друга в газетах и повременных изданиях; явились поэты, прозаики, и все обличительные... явились такие поэты и прозаики, которые никогда бы не явились на свет, если б не было обличительной литературы. О, не думайте, г-да европейцы, что мы пропустили Островского. Нет; ему не в обличительной литературе место. Мы знаем его место. Мы уже говорили не раз, что веруем в его новое слово и знаем, что он, как художник, угадал то, что нам снилось еще даже в эпоху демонических начал и самоуличений, даже тогда, когда мы читали бессмертные похождения Чичикова. Грезилось и желалось все это нам, как дождя на сухую почву. Мы даже боялись и высказать, чего нам желалось. Г-н Островский не побоялся... но об Островском потом. <...>

<...> На долю же нашего поколения досталась честь первого шага и первого слова. Новая мысль уж не раз выражалась русским словом наружу. Мы начинаем изучать ее прежние выражения и открываем в прежних литературных явлениях факты, до сих пор не замеченные нами, но вполне подтверждающие эту мысль. Колоссальное значение Пушкина уясняется нам все более и более, несмотря на некоторые странные литературные мнения о Пушкине, выраженные в последнее время в двух журналах... Да, мы именно видим в Пушкине подтверждение всей нашей мысли. Значение его в русском развитии глубоко знаменательно. Для всех русских он живое уяснение, во всей художественной полноте, что такое дух русский, куда стремятся все его силы и какой именно идеал русского человека. Явление Пушкина есть доказательство, что дерево цивилизации уже дозрело до плодов и что плоды его не гнилые, а великолепные, золотые плоды. Все, что только могли мы узнать от знакомства с европейцами о нас самих, мы узнали; все, что только могла нам уяснить цивилизация, мы уяснили себе, и это знание самым полным, самым гармоническим образом явилось нам в Пушкине. Мы поняли в нем, что русский идеал – всецелость, всепримиримость, всечеловечность. В явлении Пушкина уясняется нам даже будущая наша деятельность. Дух русский, мысль русская выражались и не в одном Пушкине, но только в нем они явились нам во всей полноте, явились как факт, законченный и целый...

О Пушкине мы хотим сказать несколько подробнее в будущей статье нашей и доказательнее развить нашу мысль. В будущей же статье мы перейдем наконец и к русской литературе, будем говорить о теперешнем ее положении, о ее значении в теперешнем обществе, о некоторых ее недоразумениях, спорах, вопросах. В особенности хочется нам сказать несколько слов и об одном очень странном вопросе, который уже столько лет разделяет нашу литературу на партии и таким образом парализует ее силы. Именно о знаменитом вопросе: искусство для искусства и проч., – все его знают. Нечего выписывать заглавие. Признаемся заранее, мы всего более удивляемся, как не надоел еще этот вопрос публике окончательно и она еще не отказывается читать целые о нем трактаты? Но мы постараемся написать наше мнение не в форме трактата.

## **II. Г-н – бов и вопрос об искусстве**

Мы сказали в объявлении о нашем журнале, что наша русская критика в настоящее время пошлеет и мельчает. Мы с грустью сказали эти слова; не отрекаемся от них; это наше глубокое убеждение. Многие из наиболее читаемых русских журналов выразили почти ту же мысль <...>. Нельзя не сознаться, что в нашей критике давно уже заметна какая-то всеобщая апатия, кроме, может быть, одного исключения. Не так, впрочем, думают «Отечественные записки». Они решились объявить, – и, кажется, без малейших колебаний, без малейших угрызений

совести, – что вся блестящая деятельность Белинского <...>, что настоящая, громадная и спасительная деятельность русской критики началась именно с того времени, как Белинский оставил этот журнал. Мы помним, что к этому времени (то есть как Белинский оставил этот журнал) относится появление в «Отечественных записках» статьи г-на Дудышкина о Фонвизине. Не с нее ли «Отечественные записки» начинают новую эру русской критики? Правда, сейчас после Белинского занялся в «Отечественных записках» отделом критики Валериан Николаич Майков, брат всем известного и всеми любимого поэта, Аполлона Николаича Майкова. Валериан Майков принялся за дело горячо, блистательно, с светлым убеждением, с первым жаром юности. Но он не успел высказаться. Он умер в первый же год своей деятельности. Много обещала эта прекрасная личность, и, может быть, многого мы с нею лишились. Но со смертью В. Майкова основался в «Отечественных записках» г-н Дудышкин, и мы имеем некоторое основание думать, что с него-то и начинается желтый журнал новую блестящую эру своей деятельности. «Отечественные записки» именно ставят себе в особенную заслугу, что после Белинского критика приняла у них характер по преимуществу исторический и что Белинский, который низвергал авторитеты и занимался Жорж Зандом <...>, едва прикоснулся к исторической части русской литературы. Во-первых, это несправедливо, а если бы и было справедливо, то в двух страницах Белинского (издание сочинений которого приводится к окончанию) сказано больше об исторической же части русской литературы, чем во всей деятельности «Отечественных записок» с 48-го года до наших времен. А так как статья о Фонвизине считается в «Отечественных записках» началом этой пресловутой исторической деятельности, то и деятельность эта, вероятно, считается с г-на Дудышкина. Правда, статья о Фонвизине была еще довольно дельная, хотя очень скучная. Но после нее наступила в «Отечественных записках» такая засуха, что страх вспомнить об этом времени, даже в сравнении с статьей о Фонвизине. Между тем «Отечественные записки» называют это время самой блестящей эпохой своей деятельности, да и всей русской литературы. Они утверждают, что журнал их обратился в то время к народности. Мы припоминаем в «Отечественных записках» одну статью о метле, ухвате и лопате и о значении их в древней русской мифологии. Сведения, сообщенные автором этой статьи, были, конечно, полезные; но не в таких ли статьях видят «Отечественные записки» обращение к народности? Если так, то взгляд их и понятие о народности довольно оригинальны. Оригинален тоже другой взгляд, выраженный в объявлении «Отечественных записок» с ужасающей откровенностью: именно, что все, что только есть исправно мыслящего, движущегося, идущего к какой-нибудь цели в нашем теперешнем обществе, все – насколько развилось в нем сознания и смысла, – все это сделали «Отечественные записки», все это плоды трудов их. Так как они сами начинают немного свысока смотреть на Белинского, то позволительно заключить, что все эти блестящие результаты они приписывают своей последующей деятельности, то есть начиная с статей о Фонвизине и о лопате, до чудовищной статьи о Пушкине, помещенной в апрельской книжке «Отечественных записок» прошлого 1860 года. Впрочем, прошлогоднее объявление об издании «Отечественных записок» принадлежит истории русской литературы. Оно не умрет; оно вековечно, монументально. Мы относим его к литературе русских скандалов и к скандалам в русской литературе. <...>

<...> нам приходится в настоящей статье отчасти говорить, по поводу одного вопроса, об одном из важнейших представителей современной критики, которого – в этом надо признаться откровенно – только одного у нас теперь и читают, чуть ли не из всех наших критиков. В самом деле, исключая три-четыре критические статьи, мелькнувшие по разным журналам за прошлый год и несколько замеченные публикою, – все остальные прошли, почти не оставив по себе следа. Читают одного г-на – бова, который заставил-таки читать себя, и уж за это одно он стоит особенного внимания... <...>

<...> Одним из самых важных литературных вопросов мы считаем теперь вопрос об искусстве. Этот вопрос разделяет многих из современных писателей наших на два враждеб-

ных лагеря. Таким образом разъединяются силы. Нечего распространяться о вреде, который заключается во всяком враждебном разногласии. А дело уже доходит почти до вражды.

Разобрать эту вражду и ее причины, разъяснить весь спор и высказать свое мнение по поводу этого спора – соответствовало бы и целям нашего журнала и обязанностям, которые мы сами приняли на себя перед публикой. Но прежде всего оговоримся: если мы и ввяжемся в этот спор, то вовсе не претендуя на роль окончательного судьи в этом споре. Да и примера мы не припомним, чтоб в литературных спорах наших хоть когда-нибудь одна партия подчинилась другой, согласилась бы с ней добровольно и по убеждению. Всякий литературный спор кончается у нас тем, что или выживает из лет, надоедает всем и каждому и прекращается сам собою; или одна партия одолевает другую так, что другая замолкает, но единственно от бессилия и истощения; замолкает, а не соглашается. Соглашений мы как-то не помним. Если же они и бывали, то так редко, что и припоминать не стоит. <...>

<...> мы считаем теперешний вопрос об искусстве чрезвычайно важным, а потому, как начинающий журнал, хотим высказать и свое мнение: как мы понимаем этот вопрос и какому именно оттенку в его решении придерживаемся. <...>

Нам говорят, и мы сами недавно читали в одном из самых распространенных в публике журналов наших, что партий в русской литературе не существует. Мы полагаем, что этот журнал употребил слово «партий» в смысле распри личных, до которых собственно литературе не должно быть и дела. Разумеется, мы всеми силами желаем поверить этому журналу на слово: нет, так тем и лучше. Но партии в смысле несогласных убеждений в нашей литературе существуют. У нас есть Аскоченские, Чернокнижниковы, – бовы. Даже сам великолепный Кузьма Прутков в строгом смысле может тоже считаться представителем цельной и своеобразной партии. Вообще каждый журнал наш чего-либо да придерживается. Совершенно же бесцветные журналы у нас не держатся и умирают тихую и спокойною смертью. Разумеется, литературные партии наши вообще неясно и как-то смутно обрисованы. От иных решительно не дождешься ясного изложения их убеждений; другие отделяются какими-то намеками; третьи выражаются как будто по заказу, а между тем как будто сами себе не верят; четвертые удаляются в туманную область нахмуренных фраз, головоломных фраз, тарабарского слога, – разбирай как знаешь. Винить за это, разумеется, невозможно. Но по поводу вопроса об искусстве некоторые из журналов наших обозначились довольно резко, особенно в последнее время. Между ними первое место занимает «Современник» с прошлогодними статьями г-на – бова.

Сделав такое предисловие, приступим к самому делу.

И во-первых, объявляем, что не придерживаемся ни одного из теперь существующих мнений и прямо говорим, что, по нашему мнению, весь вопрос в настоящую минуту ложно представлен – именно от слишком горячего спора; именно оттого, что дело дошло почти до вражды. Мы надеемся доказать это.

Но представим самую сущность вопроса: что именно это за вопрос и в чем он заключается?

Одни говорят и учат, что искусство служит само себе целью и в самой сущности своей должно находить себе оправдание. И потому вопроса о полезности искусства, в настоящем смысле слова, даже и быть не может. Творчество – основное начало каждого искусства – есть цельное, органическое свойство человеческой природы и имеет право существовать и развиваться уже по тому одному, что оно есть необходимая принадлежность человеческого духа. Оно так же законно в человеке, как ум, как все нравственные свойства человека и, пожалуй, как две руки, как две ноги, как желудок. Оно неотделимо от человека и составляет с ним целое. Конечно, ум, например, полезен, – так можно выразиться: плохо без ума. Полезны в этом же смысле человеку и руки и ноги! В этом же смысле полезно человеку и творчество.

Но как нечто цельное, органическое, творчество развивается само из себя, неподчиненно и требует полного развития; главное – требует полной свободы в своем развитии. Поэтому

всякое стеснение, подчинение, всякое постороннее назначение, всякая исключительная цель, поставленная ему, будут незаконны и неразумны. Если б ограничить творчество или запретить творческим и художественным потребностям человека заниматься, – ну, чем бы, например? – ну, хоть выражением известных ощущений; запретить человеку всю творческую его деятельность, которую бы возбуждали в нем известные явления природы: восход солнца, морская буря и проч., и проч., – то все это было бы нелепым, смешным и незаконным стеснением человеческого духа в его деятельности и развитии.

Это говорит одна партия, – партия защитников свободы и полной неподчиненности искусства.

«Разумеется, все это было бы нелепым стеснением, – ответят утилитаристы (другая партия, учащая тому, что искусство должно служить человеку прямой, непосредственной, практической и далее определенной обстоятельствами пользой), – разумеется, всякое подобное стеснение, без разумной цели, а единственно по прихоти, – есть дикая и злая глупость. Но согласитесь сами (могут они прибавить) – вдруг, например, идет сражение – вы один из сражающихся; вместо того чтоб помогать своим товарищам в битве, вам, как артисту в душе, вдруг понравилась картина сражения; вы бросите оружие, вынимаете карандаш, бумагу и начинаете срисовывать поле битвы. Хорошо вы делаете? Разумеется, вы имеете полное право предаваться вашим вдохновениям; но разумна ли будет ваша художественная деятельность в такую минуту?

Одним словом, – заключают они, – мы не отвергаем вашей теории о свободе развития творчества; но эта свобода должна быть, по крайней мере, хоть разумная».

Г-н Панаев в начале своих интересных литературных воспоминаний («Современник», 1861, книга I) упоминает, что во время его молодости между петербургскими литераторами одного круга существовало убеждение, что литераторы, поэты, художники, артисты не должны заниматься ничем насущным, текущим, – ни политикой, ни внутреннюю жизнь общества, к которому принадлежат, ни даже каким-нибудь важнейшим общенародным вопросом, а заниматься только одним *высоким искусством*. Заниматься же чем-нибудь, кроме искусства, значит унижать его, низводить с его высоты, глумиться над ним. По такому учению, значит, надо было добровольно вырвать из-под себя всю почву, на которой все стоят и которою все живут, и, следовательно, улетать все выше и выше в надзвездия, а там, разумеется, как-нибудь испариться, потому что ведь больше-то ничего не оставалось и делать. Эта теория могла привести прямо к тому, что, например, во время двенадцатого года, когда все русское занималось только одним спасением отечества, одним литераторам и поэтам было бы гораздо приличнее заниматься, ну, хоть, например, греческой антологией. В литературной и художественной кучке, о которой рассказывает г-н Панаев, так и поступали: вопросами общественными не занимались. Один из важнейших членов этой кучки только и делал в то время, что писал драмы из жизни итальянских художников.

Возьмем еще пример.

Положим, что мы переносимся в восемнадцатое столетие, именно в день лиссабонского землетрясения. Половина жителей в Лиссабоне погибает; дома разваливаются и проваливаются; имущество гибнет; всякий из оставшихся в живых что-нибудь потерял – или имение, или семью. Жители толкаются по улицам в отчаянии, пораженные, обезумевшие от ужаса. В Лиссабоне живет в это время какой-нибудь известный португальский поэт. На другой день утром выходит номер лиссабонского «Меркурия» (тогда все издавались «Меркурии»). Номер журнала, появившегося в такую минуту, возбуждает даже некоторое любопытство в несчастных лиссабонцах, несмотря на то, что им в эту минуту не до журналов; надеются, что номер вышел нарочно, чтоб дать некоторые сведения, сообщить некоторые известия о погибших, о пропавших без вести и проч., и проч. И вдруг – на самом видном месте листа бросается всем в глаза что-нибудь вроде следующего:

Шепот, робкое дыханье,  
Трели соловья,  
Серебро и колыханье  
Сонного ручья,  
Свет ночной, ночные тени,  
Тени без конца.  
Ряд волшебных изменений  
Милого лица,  
В дымных тучках пурпур розы,  
Отблеск янтаря,  
И лобзания, и слезы,  
И заря, заря!

Да еще мало того: тут же, в виде послесловия к поэмке, приложено в прозе всем известное поэтическое правило, что тот не поэт, кто не в состоянии выскочить вниз головой из четвертого этажа (для каких причин? – я до сих пор этого не понимаю; но уж пусть это непременно надо, чтоб быть поэтом; не хочу спорить). Не знаю наверно, как приняли бы свой «Меркурий» лиссабонцы, но мне кажется, они тут же казнили бы всенародно, на площади, своего знаменитого поэта, и вовсе не за то, что он написал стихотворение без глагола, а потому, что вместо трелей соловья накануне слышались под землей такие трели, а колыхание ручья появилось в минуту такого колыхания целого города, что у бедных лиссабонцев не только не осталось охоты наблюдать —

В дымных тучках пурпур розы

или

Отблеск янтаря,

но даже показался слишком оскорбительным и небратским поступок поэта, воспевающего такие забавные вещи в такую минуту их жизни. Разумеется, казнив своего поэта (тоже очень небратски), они все непременно бы кинулись к какому-нибудь доктору Панглосу<sup>2</sup> за умным советом, и доктор Панглос тотчас же и без большого труда уверил бы их всех, что это очень хорошо случилось, что они провалились, и что уж если они провалились, то это непременно к лучшему. И доктора Панглоса никто бы не разорвал за это в клочки; напротив, дали бы ему пенсию и провозгласили бы его другом человечества. Ведь так все идет на свете.

Заметим, впрочем, следующее: положим, лиссабонцы и казнили своего любимого поэта, но ведь стихотворение, на которое они все рассердились (будь оно хоть и о розах и янтаре), могло быть великолепно по своему художественному совершенству. Мало того, поэта-то они б казнили, а через тридцать, через пятьдесят лет поставили бы ему на площади памятник за его удивительные стихи вообще, а вместе с тем и за «пурпур розы» в частности. Выходит, что не искусство было виновато в день лиссабонского землетрясения. Поэма, за которую казнили поэта, как памятник совершенства поэзии и языка, принесла, может быть, даже и немалую пользу лиссабонцам, возбуждая в них потом эстетический восторг и чувство красоты, и легла благотворной росой на души молодого поколения. Стало быть, виновато было не искусство, а поэт, злоупотребивший искусством в ту минуту, когда было не до него. Он пел и плясал у

---

<sup>2</sup> Доктор Панглос – смешной философ в одной сказке Вольтера, доказывающий, что все на свете происходит к лучшему.

гроба мертвеца... Это, конечно, было очень нехорошо и чрезвычайно глупо с его стороны; но виноват опять-таки он, а не искусство.

Одним словом, утилитаристы требуют от искусства прямой, немедленной, непосредственной пользы, соображающейся с обстоятельствами, подчиняющейся им, и даже до такой степени, что если в данное время общество занято разрешением, напр<имер>, такого-то вопроса, то искусство (по учению некоторых утилитаристов) и цели не может задать себе иной, как разрешение этого же вопроса. Если рассматривать это соображение о пользе не как требование, а только как желание, то оно, по нашему мнению, даже похвально, хотя мы и знаем, что все-таки это соображение не совсем верно. Если, например, все общество озабочено разрешением какого-нибудь важного внутреннего вопроса, то, разумеется, приятно было бы желать, чтоб и все силы общества согласно направлены были к достижению всеобщей цели, а следовательно, чтоб и искусство прониклось этой же идеей и тоже послужило бы общей пользе. Какое-нибудь общество, положим, на краю гибели; все, что имеет сколько-нибудь ума, души, сердца, воли, все, что сознает в себе человека и гражданина, занято одним вопросом, одним общим делом. Неужели ж тогда только между одними поэтами и литераторами не должно быть ни ума, ни души, ни сердца, ни любви к родине и сочувствия всеобщему благу? Служенье муз, дескать, не терпит суеты.

Это, положим, так. Но хорошо бы было, если б, например, поэты не удалялись в эфир и не смотрели бы оттуда свысока на остальных смертных; потому что хотя греческая антология и превосходная вещь, но ведь иногда она бывает просто не к месту, и вместо нее приятнее было бы видеть что-нибудь более подходящее к делу и помогающее ему. А искусство много может помочь иному делу своим содействием, потому что заключает в себе огромные средства и великие силы. Повторяем: разумеется, этого только можно желать, но не требовать, уже по тому одному, что требуют большею частью, когда хотят заставить насильно, а первый закон в искусстве – свобода вдохновения и творчества. Все же вытребованное, все вымученное спокон веку до наших времен не удавалось и вместо пользы приносило один только вред. Защитники «искусства для искусства» собственно за то и сердятся на утилитаристов, что они, предписывая искусству определенные цели, тем самым разрушают само искусство, посягая на его свободу, а разрушая так легко искусство, стало быть, не ценят его и, следовательно, не понижают даже, к чему оно может быть полезно, – они толкуют прежде всего о пользе. Потому, говорят защитники искусства, если б утилитаристы только знали, какая великая польза заключается в искусстве для всего человечества, то они бы несколько более ценили его и не обращались бы с ним с таким неуважением. И в самом деле (продолжают они), если б даже смотреть на искусство с одной вашей точки зрения, то есть со стороны одной полезности, то ведь еще неизвестен в подробности нормальный исторический ход полезности искусства в человечестве. Трудно измерить всю массу пользы, принесенную и до сих пор приносимую всему человечеству, например, «Илиадой» или Аполлоном Бельведерским, вещами, по-видимому, совершенно в наше время ненужными. Вот, например, такой-то человек, когда-то, еще в отрочестве своем, в те дни, когда свежи и «новы все впечатленья бытия», взглянул раз на Аполлона Бельведерского, и бог неотразимо напечатлелся в душе его своим величавым и бесконечно прекрасным образом. Кажется, факт пустой: полюбовался две минуты красивой статуей и пошел прочь. Но ведь это любованье не похоже на любованье, например, изящным дамским туалетом. «Мрамор сей ведь бог», и вы, сколько ни плюйте на него, никогда у него не отнимете его божественности. Пробовали отнять, да ничего не вышло. И потому впечатление юноши, может быть, было горячее, потрясающее нервы, охлаждающее эпидерму; может быть, даже, – кто это знает! – может быть даже, при таких ощущениях высшей красоты, при этом сотрясении нерв, в человеке происходит какая-нибудь внутренняя перемена, какое-нибудь передвижение частиц, какой-нибудь гальванический ток, делающий в одно мгновенье прежнее уже не прежним, кусок обыкновенного железа магнитом. Впечатлений на свете, конечно, множество, но

ведь недаром же это впечатление особенное, впечатление бога. Недаром же такие впечатления остаются на всю жизнь. И кто знает? Когда этот юноша, лет двадцать-тридцать спустя, отозвался во время какого-нибудь великого общественного события, в котором он был великим передовым деятелем, таким-то, а не таким-то образом, то, может быть, в массе причин, заставивших его поступить так, а не этак, заключалось, бессознательно для него, и впечатление Аполлона Бельведерского, виденного им двадцать лет назад. Вы смеетесь? Действительно, все это похоже на бред, но, во-первых, в подобных фактах, несмотря на всю вашу положительность, вы сами еще ничего ровно не знаете. Может быть, впоследствии узнаете (мы верим в науку), но теперь покамест не знаете. А во-вторых, есть исторические признаки, есть некоторые исторические факты, по которым можно подумать, что наши мечты и не совсем вздор. Ну, кто бы мог подумать, что, например, Корнель и Расин отзовутся своим влиянием в такие странные и решительные минуты исторической жизни целого народа, что, казалось бы, и немислимо было сначала, что делать таким старым колпакам, как Корнель и Расин, в такие эпохи. Оказалось, что души-то и не умирают. А потому, если давать заранее цели искусству и определять, чем именно оно должно быть полезно, то можно ужасно ошибиться, так что вместо пользы можно принести один вред, а следовательно, действовать прямо против себя, потому что утилитаристы требуют пользы, а не вреда. И так как искусство требует прежде всего полной свободы, а свобода не существует без спокойствия (всякая тревога уже не свобода), то, следственно, искусство должно действовать тихо, ясно, не торопясь, не увлекаясь по сторонам, имея само себя целью и веруя, что всякая деятельность его отзовется со временем человечеству несомненною пользою.

Вот что говорят сторонники искусства для искусства своим противникам утилитаристам.

Во всем этом, конечно, ничего нет нового; спор стар, но вот что новое: что сами предводители обеих партий говорят так, а на деле поступают обратно-противоположно своим же словам. Слишком уж заспорились. Не распространяясь много, покажем один пример.

Обличительная литература возбуждает негодование сторонников чистого искусства. С одной стороны, это имеет некоторое основание: большею частию произведения обличительной литературы до того худы, что более вредны, чем полезны всеобщему делу, и если мы с своей стороны признаем, что нападки на эти произведения отчасти и дельны, то единственно только в этом смысле. Но в том-то и беда, что нападки на них идут не с одной этой стороны и не в этом смысле. Негодование заходит далее: обвиняется сам г-н Щедрин, родоначальник обличительной литературы, несмотря на то, что г-н надворный советник Щедрин во многих из своих обличительных произведений – настоящий художник. Мало того: гонится весь обличительный род искусства, как будто между обличительными писателями даже и не может появиться истинного художника, гениального писателя, поэта, самая специальность которого именно и будет состоять в обличении. Следственно, из вражды к противникам сторонники чистого искусства идут против самих себя, против своих же принципов, а именно – уничтожают свободу в выборе вдохновения. А за эту свободу они-то бы и должны стоять.

С другой стороны, утилитаристы, не посягая явно на художественность, в то же время совершенно не признают ее необходимости. «Была бы видна идея, была бы только видна цель, для которой произведение написано, – и довольно; а художественность дело пустое, третьестепенное, почти ненужное». Вот как думают утилитаристы. А так как произведение нехудожественное никогда и ни под каким видом не достигает своей цели; мало того: более вредит делу, чем приносит пользы, то, стало быть, утилитаристы, не признавая художественности, сами же более всех вредят делу, а следственно, идут прямо против самих себя, потому что они ищут не вреда, а пользы.

Нам скажут, что мы это все выдумали, что утилитаристы никогда не шли против художественности. Напротив, не только шли, но мы заметили, что им даже особенно приятно позлиться на иное литературное произведение, если в нем главное достоинство – художествен-

ность. Они, например, ненавидят Пушкина, называют все его вдохновения вычурами, кривляниями, фокусами и фиоритурами, а стихотворения его – альбомными побрякушками. Даже самое появление Пушкина в нашей литературе они считают как будто чем-то незаконным. Мы вовсе не преувеличиваем. Все это почти ясно выражено г-ном – бовым в некоторых критических статьях его прошлого года. Заметно еще, что г-н – бов начинает высказываться с каким-то особенным нерасположением и о г-не Тургеневе, самом художественном из всех современных русских писателей. В статье же своей «Черты для характеристики русского простонародья» («Современник», 1860, № IX), при разборе сочинений Марка Вовчка, г-н – бов почти прямо выказывает, что художественность он считает ничем, нулем, и выказывает именно тем, что не умеет понять, к чему полезна художественность. При разборе одной повести Марка Вовчка г-н – бов прямо признает, что автор написал эту повесть нехудожественно, и тут же, сейчас же после этих слов, утверждает, что автор достиг вполне этой повестью своей цели, а именно: вполне доказал, что такой-то факт существует в русском простонародье. Между тем этот факт (очень важный) не только не доказывается этой повестью, но даже вполне подвергается сомнению именно потому, что по нехудожественности автора действующие лица повести, выставленные автором для доказательства его главной идеи, утратили под пером его всякое русское значение, и читатель скорее согласится назвать их шотландцами, итальянцами, североамериканцами, чем русским простонародьем. Как же в таком случае могли бы они доказать собою, что такой-то факт существует в русском простонародье, когда сами они, действующие лица, не похожи на русское простонародье? Но г-ну – бову до этого решительно нет дела; была бы видна идея, цель, хотя бы все нитки и пружины грубо выглядывали наружу; к чему же после этого художественность? Да и к чему, наконец, писать повести? просто-запросто написать бы, что вот такой-то факт существует в русском простонародье – потому-то и потому-то, – и короче, и яснее, и солиднее! «А тут еще сказки рассказывать! Вот людям-то нечего делать!»

Кстати сделаем еще одно нотабене. Чем познается художественность в произведении искусства? Тем, если мы видим согласие, по возможности полное, художественной идеи с той формой, в которую она воплощена. Скажем еще яснее: художественность, например, хоть бы в романисте, есть способность до того ясно выразить в лицах и образах романа свою мысль, что читатель, прочтя роман, совершенно так же понимает мысль писателя, как сам писатель понимал ее, создавая свое произведение. Следственно, попросту: художественность в писателе есть способность писать хорошо. Следственно, те, которые ни во что не ставят художественность, допускают, что *позволительно* писать нехорошо. А уж если согласятся, что позволительно, то ведь отсюда недалеко и до того, когда просто скажут: что *надо* писать нехорошо. Да чуть ли уж и не говорят.

В этой статье нашей мы намерены проследить этот критический разбор сочинений Марка Вовчка, помещенный г-ном – бовым в IX № «Современника» за прошлый год. Мы делаем это особенно потому, что в этом разборе довольно ярко выказывается характер литературных убеждений г-на – бова, а вместе и взгляд его на искусство. А г-н – бов есть, как мы уже сказали, один из предводителей утилитаризма. Следственно, изучив хоть отчасти г-на – бова, мы поймем и то, как поставлен в настоящую минуту вопрос об искусстве в нашей литературе.

Известно всей читающей русской публике, что Марко Вовчок написал две книги рассказов из народного малороссийского и из народного великорусского быта. Г-н – бов разбирает одни великорусские рассказы, вышедшие в переводе на русский язык. Все рассказы разобраны им с необыкновенною подробностью, с лишком на пяти печатных листах мелкой печати. Этот разбор особенно любопытен тем, что в нем, с одной стороны, выясняется, как понимает г-н – бов назначение и цель литературы, чего от нее требует и какие свойства, средства и силы признает за ней относительно влияния на общество. Мы, впрочем, ограничимся только разбором одного первого рассказа; и этого довольно, чтоб ясно понять убеждения г-на – бова. О самом же Марке Вовчке мы в настоящей статье не намерены говорить подробно. Скажем только, что

признаем за автором большой ум и превосходные побуждения, в сильном же литературном таланте его сомневаемся. Мы особенно жалеем, что высказываем такое мнение, не доказав его. Жалеем еще более, что как нарочно принуждены взять именно разбор первого рассказа: «Маша», – надо признаться, – может быть, самого слабого из всех рассказов автора. Но г-н – бов при разборе этого рассказа наиболее высказался именно с той стороны, на которую мы хотим обратить внимание наших читателей.

Разумеется, мы не намерены разбирать *все убеждения* г-на – бова, хотя г-н – бов, по нашему мнению, стоит подробного разбора. Мы во многом совершенно с ним не согласны и прямые его противники; но уж одно то, что он заставил публику читать себя, что критические статьи «Современника», с тех пор как г-н – бов в нем сотрудничает, разрезаются из первых, в то время когда почти никто не читает критик, – уже одно это ясно свидетельствует о литературном таланте г-на – бова. В его таланте есть сила, происходящая от убеждения. Г-н – бов не столько критик, сколько публицист. Основное начало убеждений его справедливо и возбуждает симпатию публики; но идеи, которыми выражается это основное начало, часто бывают парадоксальны и отличаются одним важным недостатком – кабинетностью. Г-н – бов – теоретик, иногда даже мечтатель и во многих случаях плохо знает действительность; с действительностью он обходится подчас даже уж слишком бесцеремонно: нагибает ее в ту и другую сторону, как захочет, только б поставить ее так, чтоб она доказывала его идею. Пишет г-н – бов простым, ясным языком, хоть и говорят про него, что он уж слишком жует фразу, прежде чем положить ее в рот читателю. Ему все как будто кажется, что его не понимают. Впрочем, это еще небольшой недостаток. Ясность и простота языка его заслуживают особенного внимания и похвалы в наше время, когда в иных журналах вменяют даже себе в особую честь неясность, тяжелизну и кудреватость слога, вероятно думая, что все это способствует глубокомыслию. Кто-то уверял нас, что если теперь иному критику захочется пить, то он не скажет прямо и просто: принеси воды, а скажет, наверно, что-нибудь в таком роде:

– Привнеси то существенное начало овлажнения, которое послужит к размягчению более твердых элементов, осложнившихся в моем желудке.

Эта шутка отчасти похожа на правду. <...>

<...> Г-н – бов рассматривает Марка Вовчка отчасти и как художника, не признает в авторе решительного художественного таланта, но тут же говорит, что в нем заметна широта понимания той жизни, которую он изображает, и что тем-то эти рассказы и нравятся ему, г-ну – бову. Мало того, г-н – бов даже увлекается: как умный человек, он мог увидеть пружины, заметить намеки и намерения автора; мог даже по некоторым запутанным и бессвязным черточкам заключить, что автор говорит или желает говорить о том-то и том-то, и вот, от радости, что заговорили о том-то и том-то, он до того благодарен автору, что готов находить в его рассказах и присутствие русского духа, и знакомые образы (простонародья) и проч., и проч., а это уже есть признаки художественности, которой он сам не признает в авторе. Главное дело, что г-н – бов доволен и без художественности; только чтоб говорили о деле. Последнее желание, конечно, похвальное, но приятнее было бы, если б и о деле говорили хорошо, а не как-нибудь. <...>

<...> На то и талант у писателя, чтоб произвести впечатление. Можно знать факт, видеть его самолично сто раз и все-таки не получить такого впечатления, как если кто-нибудь другой, человек особенный, станет подле вас и укажет вам тот же самый факт, но только по-своему, объяснит вам его своими словами, заставит вас смотреть на него своим взглядом. Этим-то влиянием и познается настоящий талант. Но если рассказывать теперь, в настоящую минуту, о любви к свободному труду и рассказывать для того, чтоб доказать, что такой факт существует, так ведь это все равно, как если б кто стал доказывать, что человеку надобно пить и есть. Теперь просим читателя обратить внимание на этот самый рассказ, на этот *простой* случай, как выражается г-н – бов. Скажите: читали ли вы когда-нибудь что-нибудь более неправдопо-

добное, более уродливое, более бестолковое, как этот рассказ? Что это за люди? Люди ли это, наконец? Где это происходит: в Швеции, в Индии, на Сандвичевых островах, в Шотландии, на Луне? Говорят и действуют сначала как будто в России; героиня – крестьянская девушка; есть тетка, есть барыня, есть брат Федя. Но что это такое? Эта героиня, эта Маша, – ведь это какой-то Христофор Колумб, которому не дают открыть Америку. Вся почва, вся действительность выхвачена у вас из-под ног. Нелюбовь к крепостному состоянию, конечно, может развиться в крестьянской девушке, да разве так она проявится? Ведь это какая-то балаганная героиня, какая-то книжная, кабинетная строка, а не женщина? Все это до того искусственно, до того подсочинено, до того манерно, что в иных местах (особенно, когда Маша бросается к брату и кричит: «Откупи меня!») мы, например, не могли удержаться от самого веселого хохота. А разве такое впечатление должно производить это место в повести? Вы скажете, что надо уважать иные положения и за идею простить некоторую неудачу в ее выражении. Согласны и уверяем вас, что мы не смеемся над вещами священными, но и вы согласитесь сами, что нет такой идеи, такого факта, которого бы нельзя было опозлить и представить в смешном виде. Можно долго крепиться, но наконец и расхохочешься, не утерпишь. Теперь предположим, что все защитники настоящего крестьянского быта, действительно, как уверяет г-н – бов, не верят, что крестьянин желает выйти на волю. Убедит ли хоть кого-нибудь из них рассказ в том, что они ошибаются? «Да это неправдоподобно!» – закричат они... <...>

<...> разве так все это должно проявиться, как представлено в повести? разве в ней не представлено все так, что вероятное сделано невероятным, что все это происходит на Сандвичевых островах, а не в России. <...>

<...> Мы заметили в самом начале нашей статьи, что нигде так ярко вы, предводитель утилитаризма в искусстве, не высказываете ваших идей об искусстве, как в этом разборе. <...> Мы хотели показать, что утилитаристы, презирая искусством и художественностью и не ставя их на первый план в деле литературы, идут прямехонько против самих себя. Мало того: вредят делу, которому сами служат, и мы вам это докажем.

Посмотрите: вы утверждаете, что искусство для искусства делает человека даже неспособным понимать необходимость дельного направления в литературе; вы сами говорили это художественному критику. Мало того: передразнивая художников, которых вы ставите всех (заметьте: всех) на одну доску с плантаторами, вы кричите, будто бы ихними словами, после прочтения рассказа «Маша»: «Фантазия, идиллия! мечты золотого века! Где это видано, чтобы в простой мужицкой натуре могло в такой степени развиться сознание своей личности?» Ответаем: в простой мужицкой натуре развивались и не такие вещи, да и не в виде исключения, а чуть не сподряд; все это мы знаем и всему этому верим. Но ведь видим же мы, что вы сами чувствуете всю нелепость того, как представлено дело в рассказе Вовчка, иначе не стали бы вы пускаться в такую горячую защиту рассказа, в передразнивание художников, которых вы выругали плантаторами. Выслушайте-ка теперь нас – не советы, не приговоры наши, а просто наши соображения при настоящем случае. Мы в старинном споре об искусстве не участвовали, к литературным партиям доселе не принадлежали, пришли с ветру и люди свежие, по крайней мере беспристрастные. Благоволите же выслушать.

Во-первых, прежде всего уверяем вас, что, несмотря на любовь к художественности и к чистому искусству, мы сами алчем, жаждем хорошего направления и высоко его ценим. И потому поймите наше главное: мы на Марка Вовчка нападаем вовсе не потому, что он пишет с направлением; напротив, мы его слишком хвалим за это и готовы бы радоваться его деятельности. Но мы именно за то нападаем на автора народных рассказов, что он не умел *хорошо* сделать свое дело, сделал его дурно и тем повредил делу, а не принес ему пользу. Поймите же нас – мы не хотим быть дурно понятыми и оклеветанными. Чему вы сами радуетесь в этих рассказах? Что в них дельные мысли; виден ум, хороший, правдивый взгляд на вещи? так? Но предположив только, что ваша идея справедлива, то есть что защитники настоящего крестьян-

ского быта, как говорите вы, не веруют, что мужику хочется на свободу, повторяем: неужели вы убедите их этим рассказом? Вы прямо говорите, что этот рассказ «залетает в их последнее убежище», следовательно, верите в его *полезность*. А между тем ваши противники прямо ответят вам: «Вы утверждаете, что это случай повсеместный, и выходите из себя, чтоб доказать это; то-то и есть, что он рассказан так, что мы ясно видим его исключительность, доходящую до нелепости, почти невозможную. Уж если вы, для доказательства вашей идеи, не нашли способа выразить ее в русском духе и русскими лицами, то, согласитесь сами, ведь позволительно заключить, что и факта такого нет в русском духе и невозможен он в русской действительности». Вот что вам ответят, а следственно, рассказ, вместо серьезного, дельного впечатления, возбудит только смех и напомним басню «Медведь и Пустынник». «Вы даже не могли представить себе русского человека с вашей идеей! – прибавят ваши противники. – Когда надо было указать, как осуществляется ваша мысль на деле, в жизни, русский человек ускользнул от вас. Вы принуждены были одеть в русские кафтаны и сарафаны каких-то швейцарцев из балета; это пейзажи и пейзажики, а не крестьяне и крестьянки. У вас почва выскользнула из-под ног, только что вы шаг первый ступили для доказательства вашего нелепого парадокса. И после этого вы хотите, чтоб мы вам поверили, когда вы сами, защитники дела, не в состоянии представить себе такого дела между русскими людьми? Нет, обманывайте себя, кабинетные мечтатели, а нас оставьте в покое». Вот что вам скажут и по-своему будут правы. А между тем ведь мысль-то автора рассказов верна. Представьте же себе, что вместо этой балаганной шутихи, вместо этой строки, Маши, вышло бы у автора рассказов яркое, верное лицо, так что вы бы сразу, наяву, увидели то в действительности, о чем так горячо спорите, – неужели вы бы отвергли такой рассказ за то только, что он художествен? Ведь такой рассказ был бы в тысячу раз полезнее. В сущности вы презираете поэзию и художественность; вам нужно прежде всего дело, вы люди деловые. То-то и есть, что художественность есть самый лучший, самый убедительный, самый бесспорный и наиболее понятный для массы способ представления в образах именно того самого дела, о котором вы хлопчете, самый *деловой*, если хотите вы, деловой человек. Следственно, художественность в высочайшей степени полезна именно с *вашей* точки зрения. Что же вы ее презираете и преследуете, когда ее именно нужно поставить на первый план, прежде всяких требований? «Прежде всяких требований нельзя, – говорите вы, – потому что прежде всего нужно дело»; но ведь и о деле нужно говорить дельно, умеючи. Ведь и в дельном человеке немного пользы, если он не умеет высказаться. Это все равно если у вас, например, под командой куча солдат, народ надежный, хороший; вдруг тревога: все вскакивают, надевают ранцы, амуницию, хватаются за оружие; «Скорее! скорее! – командуете вы, – бросайте ранцы, патроны, не нужно: только опоздаем со всеми лишними сборами; и оружия не нужно, – кто что успел захватить, с тем и марш!» Вы действительно поспеваете вовремя на место, занимаете его, но ведь ваши солдаты без оружия и без амуниции, куда они годятся? Дело-то сделано, да ведь нехорошо сделано. Или, например, перед вами крепость; вам нужно ее атаковать, и вот вы требуете непременно условием, чтоб ваши солдаты все до одного были хромые. Писатель без таланта, тот же хромой солдат. Неужели же вы предпочтете для выражения вашей мысли заику?

Но вы улыбаетесь, вам смешно, что вас же как будто учат тому, что вы сами не только отлично знаете, но давным-давно уже в своем месте высказали. В одной из ваших статей вы говорите: «*пожалуй, пусть будет произведение художественное, но будь оно и современное*». И в другой статье: «Если вы хотите живым образом действовать на меня, хотите заставить меня полюбить красоту, – то умеете уловить в ней этот общий смысл, это веяние жизни, умеете указать и растолковать его мне; тогда только вы достигнете вашей цели». Коротко и ясно; вы не отвергаете художественности, но требуете, чтоб художник говорил о деле, служил общей пользе, был верен современной действительности, ее потребностям, ее идеалам. Желание прекрасное. Но такое желание, *переходящее в требование*

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.